



К О Н Е Ц

Д Ж О Н А Т А Н

К О Н Ц А

Ф Р А Н З Е Н

З Е М Л И

Corpus

ОТ АВТОРА РОМАНОВ "БЕЗГРЕШНОСТЬ" И "ПОПРАВКИ"



Джонатан Франзен  
**Конец конца Земли**

«Corpus (АСТ)»

2018

УДК 821.111-4(73)

ББК 84(7Сое)-44

**Франзен Д.**

Конец конца Земли / Д. Франзен — «Corpus (АСТ)», 2018

ISBN 978-5-17-120012-1

В новом сборнике эссе американский писатель Джонатан Франзен, прекрасно знакомый российскому читателю по романам «Поправки» и «Безгрешность», пишет, в числе прочего, о литературе, которая «побуждает тебя задаваться вопросом, не можешь ли ты быть в чем-то неправ, а то и кругом неправ, и пытаться представить себе, почему кто-то другой может тебя ненавидеть». Какой бы темы Франзен ни касался, он никогда не ориентируется на чужое мнение, непременно ироничен, но всегда готов корректировать свои суждения.

УДК 821.111-4(73)

ББК 84(7Сое)-44

ISBN 978-5-17-120012-1

© Франзен Д., 2018

© Corpus (АСТ), 2018

## Содержание

Эссеистика в мрачные времена	6
Конец ознакомительного фрагмента.	16

# Джонатан Франзен

## Конец конца Земли

### *Сборник эссе*

Художественное оформление и макет Андрея Бондаренко

© Jonathan Franzen, 2018

© Л. Мотылев, перевод, 2019

© Ю. Полещук, перевод, 2019

© А. Бондаренко, художественное оформление, макет, 2019

© ООО «Издательство АСТ», 2019

Издательство CORPUS ®

\* \* \*

*Посвящается Кэти – вновь —  
и памяти Мартина Шнайдера-Якоби  
и Минди Баа Эль Дин*

## Эссеистика в мрачные времена

Если вспомнить, что «эссе» означает попытку, пробу, если видеть в нем нечто предпринятое автором на свой страх и риск, основанное на его личном, субъективном опыте, не бесповоротное, не непререкаемое – то может показаться, что мы живем в золотом веке эссеистики. На какой вечеринке вы были в пятницу вечером, как с вами обошлась стюардесса, какого вы мнения о горячей политической теме дня... в основе социальных сетей лежит идея, что даже самый крохотный субъективный микронарратив достоин не только того, чтобы записать его для себя, скажем, в дневнике, но и того, чтобы поделиться им с другими. На этой исходной идее основывает свои действия нынешний президент США. Такие издания, как «Нью-Йорк таймс», где традиционно был принят серьезный, объективный, «жесткий» подход к новостям, смягчились до того, что допустили на первые страницы, в фокус общего внимания, «я» с его голосом, с его мнениями и впечатлениями; книжные рецензенты все меньше и меньше скрывают себя необходимостью рассуждать о книгах хоть с какой-то долей объективности. В какой мере Раскольников и Лили Барт<sup>1</sup> располагают к себе, раньше не имело значения, но теперь вопрос о способности внушить расположение, которому неявно сопутствует идея о главенстве личных чувств рецензента, – ключевой элемент литературной критики. Да и сама художественная литература становится все больше и больше похожа на эссеистику. Некоторые из самых влиятельных романов последних лет – приходят на ум книги Рейчел Каск и Карла Уве Кнаусгора – выводят способ письма, базирующийся на проникнутом рефлексией свидетельстве от первого лица, на новый уровень. Самые горячие их поклонники скажут вам, что воображать, изобретать – устарелое занятие; что поселиться в субъективном мире персонажа, отличного от автора, – акт присвоения, узурпации, даже колониализма; что единственный аутентичный и политически оправданный вид нарратива – автобиография.

Между тем личная эссеистика как таковая – формальный аппарат честного самоисследования и последовательного взаимодействия с идеями, разработанный Монтенем и развитый Эмерсоном, Вулф, Болдуином<sup>2</sup>, – испытывает ныне упадок. Большинство многотиражных американских журналов практически перестали публиковать эссеистику в чистом виде. Жанр еще теплится главным образом в изданиях более скромного масштаба, у которых в общей сложности меньше читателей, чем у Маргарет Этвуд подписчиков в Твиттере. Что нам делать – горевать о закате эссеистики или радоваться, что она завоевывает более широкие культурные сферы?



Личный и субъективный микронарратив. Все немногие уроки эссеистики, что я получил, преподал мне Генри Финдер, мой редактор в журнале «Нью-Йоркер». В 1994 году, когда я впервые пришел к Генри, я был начинающим журналистом, отчаянно нуждающимся в деньгах. Большей частью благодаря слепой удаче я произвел на свет пригодный к публикации материал о почте США, а затем, по изначальной своей некомпетентности, я написал непригодную к публикации статью о Сьерра-клубе<sup>3</sup>. В этот-то момент Генри и предположил, что у меня,

---

<sup>1</sup> Лили Барт – главная героиня романа «Обитель радости» американской писательницы Эдит Уортон (1862–1937). (Здесь и далее, если не указано иное, прим. перев.)

<sup>2</sup> Ральф Уолдо Эмерсон (1803–1882) – американский философ, эссеист и поэт. Вирджиния Вулф (1882–1941) – английская писательница. Джеймс Болдуин (1924–1987) – американский писатель.

<sup>3</sup> Сьерра-клуб – американская природоохранная организация.

возможно, есть кое-какая эссеистическая жилка. «Поскольку журналист из тебя явно дерьмовый» – вот что я тут расслышал, и я заявил в ответ, что никакой такой жилки у меня нет. Среднезападное воспитание внушило мне ужас перед тем, чтобы слишком много трепаться о своей персоне, и вдобавок некоторые ложные идеи о творчестве романиста породили во мне предубеждение против *прямых высказываний* о том, что лучше *изобразить*. В деньгах, однако, я по-прежнему нуждался и потому продолжал позванивать Генри, выясняя, нет ли заказов на книжные рецензии. Во время одного из таких разговоров он спросил, не интересует ли меня табачная промышленность, ставшая темой недавно опубликованного масштабного исследования Ричарда Клувера. Я быстро ответил: «Из всего на свете сигареты – последнее, о чем я хочу думать». На что Генри еще быстрее отозвался: «*Именно поэтому* ты должен о них написать».

Это был мой первый урок от Генри, и он остается самым важным. После десяти примерно лет курения я успешно бросил на два года в тридцать с небольшим. Но затем, получив заказ на статью про почту и борясь с ужасом от необходимости брать телефонную трубку и представляться журналистом «Нью-Йоркера», я вернулся к старой привычке. В последующие годы мне удавалось думать о себе как о некурящем – или хотя бы как о человеке, так твердо намеренном бросить опять, что он все равно что уже бросил, хоть и продолжает курить. Мое внутреннее состояние было подобно волновой функции в квантовой физике: я мог одновременно быть вполне себе курящим и абсолютно некурящим – до тех пор, пока не решусь измерить самого себя. И я мигом понял: работа над материалом о сигаретах заставит меня снять с себя мерку. Это-то эссеистика и делает, такова ее суть.

Была еще проблема моей матери: ее отец умер от рака легких, и она была яркой антитабачницей. Я скрывал от нее свою привычку более пятнадцати лет. Одной из причин моего нежелания устранить квантовую неопределенность по отношению к табаку было то, что врать ей я вообще-то не любил. Если бы мне удалось бросить опять, на сей раз бесповоротно, волновая функция исчезла бы, и я стал бы на сто процентов некурящим, каковым я всегда себя перед ней изображал, – но лишь при условии, что я вначале не явил бы себя в печати как курильщика.

Когда Тина Браун<sup>4</sup> взяла Генри на работу в «Нью-Йоркер», он был вундеркиндом двадцати с чем-то лет. Его отличала особая манера речи – этакая бубнящая гиперартикуляция, наводящая на мысль о стесненности в груди и об отточенной, безупречно отредактированной прозе, которую, однако, очень трудно читать. Его ум и эрудиция внушили мне священный ужас, и вскоре оказалось, что я живу в страхе перед тем, как бы его не разочаровать. Эмоциональный напор в его «*Именно поэтому* ты должен о них написать» (я не знал другого человека, которому могли бы сойти с рук этот акцент на начальном «*именно поэтому*» и это повелительное «должен») дал мне надежду, что я в некой малой степени запечатлелся в его сознании.

И я взялся за эссе, сжигая каждый день перед вытяжным вентилятором в окне гостиной полдюжины легких сигарет, и результатом стал единственный из написанных мной для Генри материалов, который не потребовал его редактуры. Не помню, как эссе попало в руки маме и как – письмом или телефонным звонком – она донесла до меня свое глубокое ощущение моего предательства, но хорошо помню, что затем она не связывалась со мной полтора месяца – намного дольше, чем когда-либо еще. Вышло именно так, как я боялся. Но когда она преодолела себя и опять начала писать мне письма, я почувствовал, что она видит меня, видит таким, какой я есть, – почувствовал так, как никогда раньше. Не просто мое подлинное «я» было прежде от нее скрыто; казалось, только теперь у меня появилось «я», на которое стоит смотреть.

Кьеркегор в «Или – или» высмеивает «делового человека», прячущегося за свои текущие дела от честного размышления о себе. Можно проснуться ночью и осознать, что ты одинок в

---

<sup>4</sup> Тина Браун (род. 1953) – американская журналистка британского происхождения. С 1992 по 1998 год была главным редактором журнала «Нью-Йоркер».

своем браке или что тебе стоит задуматься о своем непомерном для планеты уровне потребления, – но наутро у тебя миллион мелких дел и забот, а на следующее утро миллион новых. И пока этот поток не прервется, ты не остановишься и не задашься более крупными вопросами. Написать или прочесть эссе – не единственный способ остановиться и спросить себя, кто ты есть на самом деле и что может значить твоя жизнь, но это не худший из способов. И если принять во внимание, каким смехотворно неделовым был Копенгаген во времена Кьеркегора по сравнению с современностью, то эти субъективные твиты и второпях написанные посты покажутся довольно далекими от эссеистики. Они скорее покажутся способом ухода от того, к чему подлинная эссеистика может нас принудить. День за днем мы читаем на экранах то, чего в печатной книге не удостоили бы внимания, и ноем, что дико заняты.

В 1997 году я бросил курить во второй раз. А затем, в 2002 году, в последний раз. А затем, в 2003 году, в самый последний раз – если не считать бездымного никотина, циркулирующего в моей крови сейчас, когда я пишу эти строки. Попытка написать честное эссе не избавляет меня от многообразия своих «я»: я по-прежнему одновременно и раб привычки, у которого главенствует рептильный мозг, и человек, озабоченный собственным здоровьем, и вечный подросток, и депрессивная личность, прибегающая к алкогольно-табачному «самолечению». Что меняется, если я нахожу время остановиться и снять с себя мерку, – это что многообразие моих «я» обретает *субстанцию*.



Одна из тайн литературы – в том, что личная субстанция, воспринимаемая и писателем, и читателем, располагается вне тела каждого из обоих, на той или иной странице. Как я могу ощущать себя более реальным для самого себя в вещи, которую пишу, чем внутри собственного тела? Как я могу испытывать более тесную близость с человеком, читая его слова, чем испытываю, когда сижу с ним рядом? Ответ отчасти в том, что и письмо, и чтение требуют полного внимания. Но свою роль, несомненно, играет и *упорядочение*, возможное только на странице.

Здесь уместно будет упомянуть о двух других уроках, которые дал мне Генри Финдер. Первый: *КАЖДОЕ ЭССЕ, ДАЖЕ АНАЛИТИЧЕСКОГО ПЛАНА, ДАЖЕ «РАЗМЫШЛЕНИЯ О...», ДОЛЖНО РАССКАЗЫВАТЬ ИСТОРИЮ*. Второй: *ЕСТЬ ТОЛЬКО ДВА СПОСОБА ОРГАНИЗАЦИИ МАТЕРИАЛА: «ПОДОБНОЕ – К ПОДОБНОМУ» И «ЗА ТЕМ-ТО ПОСЛЕДОВАЛО ТО-ТО»*. Эти правила могут показаться самоочевидными, но любой, кто проверяет эссе старшеклассников или студентов колледжа, скажет вам, что это не так. Мне в особенности не было очевидно, что эссе-размышление должно подчиняться законам драматургии. Но если подумать: разве хорошее рассуждение не начинается с постановки какой-то трудной проблемы? И разве оно не предлагает затем способа уйти от проблемы с помощью какого-либо смелого мыслительного хода, не выдвигает препятствий в виде возражений и контраргументов и, наконец, после ряда поворотов, не приводит нас к непредвиденному, но приносящему удовлетворение заключению?

Если вы готовы принять исходное положение Генри о том, что успешный прозаический текст должен содержать материал, организованный в форме истории, и если вы разделяете мое убеждение, что наши личности состоят из историй, которые мы о себе рассказываем, то вы, возможно, согласитесь, что как от писательского труда, так и от читательского удовольствия мы получаем щедрый заряд личной субстанции. Когда я один в лесу или ужинаю с другом, меня переполняет обилие случайных сенсорных сигналов. Акт же писательства вычитает почти все, оставляя только алфавит и знаки препинания, и предполагает движение к неслучайности. Ино-



гда, упорядочивая элементы знакомой истории, обнаруживаешь, что она значит не то, что ты думал. Иногда, особенно если рассуждение носит характер «из того-то следует то-то», оказывается нужен совершенно новый нарратив. Дисциплина, которой требует формирование убедительной истории, может кристаллизовать мысли и чувства, которые ты только смутно предполагал в себе.

Если ты смотришь на массу фактических данных, которая не хочет укладываться в историю, другой выход у тебя, сказал бы Генри, только один: рассортировать их по категориям, объединяя сходные элементы. *Подобное – к подобному*. Это как минимум опрятный способ письма. Но узорам из повторяющихся элементов часто свойственно на свой лад превращаться в истории. Чтобы осмыслить победу Дональда Трампа на выборах, которые он должен был, по распространенному мнению, проиграть, соблазнительно попытаться сконструировать историю типа «за тем-то последовало то-то»: Хиллари Клинтон проявила беспечность с электронной почтой, Министерство юстиции решило не привлекать ее к ответственности, затем вышли на свет письма Энтони Винера, затем Джеймс Коми сообщил Конгрессу, что расследование в отношении Клинтон возобновляется, а затем Трамп выиграл выборы. Но, возможно, плодотворнее сгруппировать материал иначе – подобное с подобным: победа Трампа была *подобна* голосованию по Брекситу и *подобна* возрождению антииммигрантского национализма в Европе. Высокомерно-небрежное обращение Клинтон с электронной почтой было подобно ее избирательной кампании с плохо сформулированным посылом и подобно ее решению не вести кампанию более энергично в Мичигане и Пенсильвании.



В день выборов я был в Гане, где занимался бердвотчингом – наблюдением за птицами – с братом и двумя друзьями. Сообщение Джеймса Коми Конгрессу нарушило ход избирательной кампании еще до моего отъезда в Африку, но *FiveThirtyEight* – авторитетный сайт Нейта Силвера<sup>5</sup>, посвященный обследованию общественного мнения, – все еще давал Трампу только тридцать шансов на выигрыш из ста. Заранее проголосовав за Клинтон, я приехал в Аккру, где испытывал по поводу выборов лишь умеренную тревогу и поздравлял себя с решением провести последнюю неделю кампании без того, чтобы заходить на *FiveThirtyEight* по десять раз на день.

В Гане мной владела другая навязчивая тяга. К своему стыду, я из тех, кого в мире бердвотчинга называют списочниками. Не то чтобы я не любил птиц ради них самих. Я наблюдаю за ними, чтобы проникаться их красотой и разнообразием, узнавать новое об их поведении и об экосистемах, к которым они принадлежат, и совершать долгие, зоркие прогулки в новых местах. Но, помимо всего этого, я веду много, слишком много списков. Я подсчитываю не только биологические виды птиц, увиденных мной по всему миру, но и виды, которые повстречал в каждой стране и в каждом американском штате, где занимался бердвотчингом; мало того, у меня есть списки по разным более мелким участкам, включая мой задний двор, и по каждому календарному году, начиная с 2003-го. Я могу, рационалистически оправдывая свои навязчивые подсчеты, назвать их маленькой добавочной игрой в контексте моей страсти. Но навязчивая тяга не на шутку мною владеет. Морально это ставит меня ниже тех, кто наблюдает за птицами исключительно ради самого процесса.

Сложилось так, что поездка в Гану давала мне шанс побить свой личный рекорд – 1286 видов птиц за год. В текущем 2016 году я уже набрал 800 с лишним, и я знал, проведя кое-

---

<sup>5</sup> Нейт (Натаниел) Силвер (род. 1978) – американский статистик и журналист.

какие изыскания в интернете, что поездки, сходные с нашей, приносили почти по 500 видов, из которых лишь единицы обычны и для Америки. Если я встречу в Африке 460 новых для этого года видов, а потом использую в Лондоне семичасовой зазор между рейсами, чтобы добавить к ним в парке около Хитроу два десятка легких европейских, то 2016-й станет моим лучшим годом за всю жизнь.

Мы повидали в Гане кое-что замечательное – великолепных турако и шурок, которые водятся только в Западной Африке. Но немногие сохранившиеся в стране леса сильно страдают от охоты и лесозаготовок, и наши потные походы по ним принесли меньше результатов, чем хотелось бы. К вечеру дня президентских выборов мы уже упустили единственный шанс повстречать несколько видов, на которые я рассчитывал. На следующее утро очень рано, когда на Западном побережье Штатов избирательные участки еще были открыты, я включил свой телефон ради удовольствия от первых сообщений о победе Клинтон. Вместо них я увидел потрясенные слова, написанные калифорнийскими друзьями, фотографии, где они мрачно сидят перед телевизорами, свою спутницу жизни, лежащую на диване в позе эмбриона. В «Таймс» главный заголовок на ту минуту гласил: «Трамп взял Северную Каролину, набирает ход; *путь Клинтон к победе узок*».

Надо было отправляться на поиски новых птиц – больше делать было нечего. На дороге через лес Нсута, уворачиваясь от грузовиков с древесиной, массой и набранным ходом напоминавших мне Трампа, и все же цепляясь за надежду, что Клинтон как-нибудь проберется узким путем к победе, я повидал черного малого тока, африканскую базу и меланхоличного саванного дятла. Утро выдалось потное, но удовлетворительное, а конец ему пришел, когда мы, снова войдя в зону действия сети, узнали, что «короткопалый пошляк» (согласно памятному определению журнала «Спай») избран президентом моей страны. В этот момент я понял, как мой ум обошелся с цифрой Нейта Силвера – с тридцатью процентами шансов, которые он давал Трампу. Почему-то я истолковал эту цифру так, что в худшем случае мир после этих выборов станет на тридцать процентов дерьмовее. На самом же деле эта цифра, конечно, означала тридцатипроцентную вероятность того, что мир станет на сто процентов дерьмовее.

За время поездки в более сухую и менее людную северную Гану мы повстречали некоторых птиц из тех, что я давно мечтал увидеть: крокодиловых сторожей, карминных шурок и самца африканского вымпелового козодоя, чьи невероятные перья-вымпелы придают ему вид нашего американского козодоя, преследуемого двумя летучими мышами. Но мы все дальше отставали от графика, который позволил бы мне побить мой рекорд. Я с опозданием сообразил: те списки, что я видел в сети, включали в себя виды, о которых человек за время поездки только слышал, тогда как мне непременно надо было увидеть птицу своими глазами. Эти списки обнадежили меня примерно так же, как Нейт Силвер. Теперь пропуск каждого вида, на который я рассчитывал, усиливал мое желание непременно повидать все намеченное на оставшуюся часть поездки, включая самые редкие виды. Иначе – не бывать новому рекорду. Это был всего лишь дурацкий годовой список, бессмысленный, в общем-то, даже для меня самого, но меня преследовал тот заголовок в «Таймс» наутро после выборов. Клинтон нужны были 275 голосов выборщиков, мне – 460 видов, и мой путь к победе становился все уже. В конце концов, за четыре дня до отъезда из Ганы, в русле водосброса плотины у границы с Буркина-Фасо, где я надеялся увидеть полдюжины новых луговых птиц и не получил ничего, мне пришлось признать поражение. Вдруг стало ясно, что мне следовало быть дома, постараться утешить свою удрученную выборами подругу, пустить в ход единственное преимущество, каким располагает депрессивный пессимист: склонность смеяться в мрачные времена.



Как короткопалый пошляк сумел попасть в Белый дом? Когда Хиллари Клинтон вновь начала выступать публично, она для вящей убедительности дополнила описание своей личности в духе «подобное – к подобному» рассказом о событиях по схеме «за тем-то последовало то-то». Ничего, что она накосычила с электронной почтой и, говоря о сторонниках Трампа, половину их отнесла к «корзине недостойных». Ничего, что избиратели могли испытывать законное недовольство либеральной элитой, которую она представляла; что они могли сомневаться в благах свободной торговли, открытых границ и автоматизации производства, тогда как общий прирост мирового богатства происходил за счет среднего класса; что не всем нравилось то, как федеральные власти навязывали либеральные городские ценности консервативным сельским сообществам. Если верить Клинтон, она проиграла по вине Джеймса Коми – и, может быть, еще из-за русских.

Надо признаться, у меня был на этот счет свой собственный складный рассказ-нарратив. Когда я вернулся из Африки в Санта-Круз, мои прогрессивные друзья все еще силились понять, как Трампу удалось выиграть. И мне вспомнилось публичное мероприятие, в котором я однажды участвовал вместе с Клэем Шерки, оптимистически настроенным специалистом по социальным сетям. Он рассказал слушателям, как потрясены были профессиональные нью-йоркские ресторанные критики, когда *Zagat* – «народная» служба оценки ресторанов, основанная на краудсорсинге, – назвала лучшим рестораном города «Юнион-сквер-кафе». Тезис Шерки состоял в том, что профессиональные критики много о себе мнят и что фактически в эпоху «больших данных» необходимость в критиках даже и вовсе отпадает. Пройгнорировав то, что «Юнион-сквер-кафе» – *мой* любимый нью-йоркский ресторан («народ» рассудил верно!), я в ответ кисло поинтересовался, не считает ли Шерки столь же ничемными литературных критиков, предпочитающих Элис Манро Джеймсу Паттерсону<sup>6</sup>. Но теперь победа Трампа дала Шерки новый повод посмеяться над экспертами. Социальные сети позволили Трампу двигаться в обход критического истеблишмента, и в ключевых штатах, где предпочтения разделились примерно пополам, набралось как раз достаточно народа, отдавшего его низкопробному комедиантству и зажигательным речам предпочтение перед нюансированными доводами Клинтон и ее умением держать политический курс. *За тем-то последовало то-то*: без Твиттера и Фейсбука никакого Трампа не было бы.

После выборов Марк Цукерберг, похоже, признал в какой-то мере ответственность за создание удобной площадки для фейковых новостей о Клинтон и согласился с тем, что Фейсбуку следовало бы активнее фильтровать новости. Что ж, удачи ему в этом. Твиттер, со своей стороны, предпочел отмалчиваться. Да и что он мог сказать под неутрачивающую музыку трамповских твитов? Что меняет мир к лучшему?

В декабре KPIG, мое любимое санта-крузское радио, начало передавать фейковую шуточную рекламу «психологической помощи» тем, кто страдает нездоровым пристрастием к бичующим Трампа твитам и фейсбучным постам. В следующем месяце, за неделю до инаугурации Трампа, Американский ПЕН-центр организовал протесты по всей стране против покушений на свободу слова, которых якобы можно было ждать от Трампа. Хотя из-за ограничений на въезд, позднее введенных его администрацией, авторам из мусульманских стран и правда стало труднее добиваться, чтобы их услышали в Соединенных Штатах, тогда, в январе, пожалуй, единственным, в чем Трампа никак нельзя было упрекнуть, было посягательство на свободу слова. Его лживые, агрессивные твиты были свободой слова на стероидах. Всего несколькими годами раньше сам же ПЕН-центр присудил Твиттеру награду за развитие свободы слова, отмечая его разрекламированную им самим роль в «арабской весне». Фактическим результа-

<sup>6</sup> Элис Манро (род. 1931) – канадская писательница, лауреат Нобелевской премии по литературе. Джеймс Паттерсон (род. 1947) – американский писатель, автор популярных романов, главным образом триллеров и детективов.

том «арабской весны» стала перегруппировка автократических сил, а Твиттер впоследствии проявил себя в руках Трампа как площадка, идеально заточенная под автократию; но поводы для иронии этим не исчерпывались. На той же январской неделе прогрессивные американские книжные магазины и авторы предложили бойкотировать издательство *Simon & Schuster* за преступное намерение опубликовать книгу Майло Яннопулоса – скверного провокатора правого толка. Самые рассерженные из магазинов заговорили об отказе от *всего*, что выпустило S&S, в том числе, получается, и от книг Эндрю Соломона, председателя ПЕН-центра. Разговоры продолжались до тех пор, пока S&S не аннулировало договор с Яннопулосом.

Трамп и его сторонники из числа альтернативных правых с удовольствием нажимают на кнопки политкорректности, но это срабатывает только потому, что кнопки существуют и готовы к нажатию; ими рьяно пользуются студенты и активисты, требующие для себя права не слышать того, что их огорчает, и заглушать криками идеи, которые они воспринимают как обидные. Пышнее всего нетерпимость цветет в интернете, где взвешенная речь наказывается отсутствием кликов, где незримые алгоритмы Фейсбука и Гугла направляют тебя к контенту, с которым ты согласишься, где несогласные помалкивают из боязни, что их обольют грязью, или затроллят, или отфрендят. Результат – бункер, где независимо от того, на какой ты стороне, ты чувствуешь себя в полном праве ненавидеть то, что ненавидишь. И тут возникает еще одно, в чем эссеистика отличается от поверхностно сходных с ней видов субъективного высказывания. Эссеистика коренится в литературе, а литература в лучших своих проявлениях – например, в рассказах Элис Манро – побуждает тебя задаваться вопросом, не можешь ли ты быть в чем-то неправ, а то и кругом неправ, и пытаться представить себе, почему кто-то другой может тебя ненавидеть.



Три года назад я пылал яростью из-за климатических изменений. Республиканская партия продолжала врать, утверждая, что в научном сообществе нет согласия по их поводу, – во Флориде Департамент охраны окружающей среды после заявления губернатора штата, республиканца, что они не являются «установленным фактом», дошел до того, что запретил своим сотрудникам писать сами эти слова – *климатические изменения*; но на левых я сердился не намного меньше. Я прочел новую книгу Наоми Кляйн «Это меняет все», где она заверяла читателя, что, хотя «время идет неумолимо», у нас еще есть десять лет на то, чтобы радикально переустроить мировую экономику и предотвратить рост глобальной температуры на два с лишним градуса по Цельсию к концу столетия. Оптимизм Кляйн звучал трогательно, но он тоже был разновидностью отрицания реальности. Даже до избрания Дональда Трампа не было оснований полагать, что у человечества есть ресурсы – политические, психологические, этические, экономические – для того, чтобы так резко сократить выброс углекислого газа, как необходимо, и благодаря этому изменить все. Даже Евросоюзу, который на первых порах возглавлял борьбу с климатическими изменениями и любил поучать другие регионы, указывая на их безответственность, понадобилась только рецессия 2009 года, чтобы переключить внимание на экономический рост. Если в ближайшие десять лет не произойдет глобального бунта против капитализма свободного рынка – этот сценарий, утверждает Кляйн, еще может спасти нас, – то *наиболее вероятный* рост температуры в этом столетии будет порядка шести градусов. Нам повезет, если мы избежим повышения на два градуса к 2030 году.

В условиях все более острого политического размежевания левым правда о глобальном потеплении оказалась еще менее удобна, чем правым. Отрицая эту правду, правые отвратительно лгали, но их ложь, по крайней мере, согласовалась с неким трезвым, лишенным сан-



тиментов политическим реализмом. Левые же, резко порицая правых за интеллектуальную нечестность, клеймя их как отрицателей климатических изменений, попали в двусмысленное положение. Настаивая на правдивости научных выводов о потеплении, они упорствовали в прекраснотушных домыслах о том, что мировое сообщество способно коллективными действиями не допустить худшего: что всеобщее признание фактов, которое действительно могло изменить все в 1995 году, по-прежнему может изменить все. Иначе какая разница, что республиканцы лукавят с климатологией?

Симпатизируя так или иначе левым – сокращать выбросы углекислого газа все-таки гораздо лучше, чем бездействовать, каждые полградуса имеют значение, – я предъявлял к ним при этом более высокие требования. Отрицать мрачную реальность, делать вид, что Парижское соглашение по климату может предотвратить катастрофу, – это было понятно как тактика, как способ поддерживать в людях желание сокращать выбросы, как средство сохранять в них надежду. Стратегически, однако, это приносило больше вреда, чем пользы. Это была сдача важных этических позиций, это оскорбляло интеллект скептически настроенных избирателей («У нас еще есть в запасе десять лет? Да неужели?»), это мешало честному обсуждению того, как мировому сообществу подготовиться к резким изменениям и как возместить таким странам, как Бангладеш, ущерб, причиненный им такими странами, как Соединенные Штаты.

Нечестность, помимо прочего, смещала приоритеты. За прошедшие двадцать лет движение за охрану окружающей среды подчинило себя одной теме. Отчасти из-за искренней тревоги, отчасти из-за того, что выдвигать на первый план человеческие проблемы политически менее рискованно – менее элитистски выглядит, – чем говорить о бедах природы, все крупные энвайронменталистские общественные организации вложили свой политический капитал в борьбу с климатическими изменениями: обратились к проблеме, имеющей человеческое лицо. Организацией, которая особенно разозлила меня, любителя птиц, было Национальное Одюбоновское общество<sup>7</sup> – в прошлом бескомпромиссный защитник птиц, а ныне апатичная организация с очень большим PR-отделом. В сентябре 2014 года этот самый PR-отдел громко заявил миру, что климатические изменения – главная угроза птицам Северной Америки. Это заявление было нечестно и в узком смысле, поскольку его формулировки не стыковались с выводами самих же одюбоновских специалистов, и в широком, потому что ни одну птичью смерть нельзя считать прямым следствием человеческих выбросов углекислого газа. В 2014 году самыми серьезными угрозами американским птицам были потеря естественной среды обитания и гуляющие на воле кошки. Этими громкими словами – «климатические изменения» – Одюбоновское общество привлекло большое внимание либеральных СМИ; в борьбе с отрицающими науку правыми было заработано очередное очко. Но совершенно не было ясно, как это помогает птицам. На практике, показалось мне, заявление общества имело единственный результат: у людей стало еще меньше желания бороться с реальными угрозами природе тут, сегодня.



Я был так разгневан, что решил написать эссе. Начал с инвективы в адрес Национального Одюбоновского общества, далее принялся презрительно разоблачать движение за охрану окружающей среды в целом, а затем стал просыпаться ночью в панике, в сомнениях, в муках совести. Для писателя эссе служит зеркалом, и то, что я в этом зеркале видел, мне не нравилось. Зачем я накинулся на собратьев-либералов? Ведь они гораздо лучше отрицателей! Пер-

<sup>7</sup> Национальное Одюбоновское общество – американская некоммерческая организация, занимающаяся охраной птиц и природы в целом.

спектива климатических изменений была мне не менее отвратительна, чем группам, на которые я набросился с критикой. Каждый градус глобального потепления – это новые страдания сотен миллионов людей по всему миру. Не следует ли бросить все усилия на то, чтобы отвоевать хотя бы полградуса? Не омерзительно ли это – рассуждать о птицах, когда под угрозой дети в Бангладеш? Да, исходным положением моего эссе было то, что мы несем моральную ответственность не только перед своим биологическим видом, но и перед другими. Но что если эта предпосылка ложна? И, даже если она верна, искренна ли моя забота о биологическом разнообразии? Или я просто-напросто привилегированный белый субъект, которому нравится наблюдать за птичками? И даже не простосердечный наблюдатель, а списочник!

После трех ночей сомнений в себе и своих мотивах я позвонил Генри Финдеру и сказал ему, что не смогу написать эссе. Я очень много разглагольствовал до этого по поводу климата, обращаясь к друзьям и к единомышленникам, озабоченным охраной среды, но мои разглагольствования были подобны тем, что постоянно идут в интернете, где тебя защищают спонтанность высказывания и уверенность в том, что твои читатели в целом настроены дружелюбно. Попытка написать эссе, законченную вещь, показала мне, как неряшливо я мыслю. Кроме того, риск стыда и шельмования тут возрастал многократно: суждения будут восприняты как осознанные, не как что-то брошенное невзначай, а вероятный читатель – чужак, проникнутый неприязнью. Да, я помнил наставление Генри («*Именно поэтому...*») и, мысленно следуя ему, видел в эссеисте пожарного, по должности обязанного бросаться в огонь стыда, от которого все остальные бегут прочь. Но сейчас я боялся куда большего, чем заслужить неодобрение матери.

Эссе, вполне возможно, так и осталось бы недописанным, не щелкну я раньше по кнопке на сайте Одюбоновского общества, подтверждая, что да, я хочу присоединиться к нему в борьбе против климатических изменений. Я сделал это только ради того, чтобы накопить риторические боеприпасы, которые можно будет использовать против Одюбоновского общества; но этим щелчком я вызвал поток обращенных к себе прямых почтовых просьб. За полтора месяца я их получил по меньшей мере восемь, все о деньгах, и такой же поток хлынул в мой электронный почтовый ящик. Через несколько дней после разговора с Генри я открыл одно из электронных писем и увидел *свою собственную* фотографию – к счастью, такую, которая мне льстит: в 2010 году меня сняли для журнала «Вог», одев лучше, чем я одеваюсь, и поставив с моим биноклем как бердвотчера посреди поля. Заголовок письма был примерно следующим: «Присоединяйтесь к писателю Джонатану Франзену в поддержке Одюбоновского общества». Да, за несколько лет до того я в интервью журналу, издаваемому обществом, вежливо похвалил эту организацию – по крайней мере ее журнал. Но я никому не позволял использовать свое имя и фотографию для просьб подобного рода. Я даже не был уверен, что такие письма законны.

Более кроткий импульс вернуться к эссе пришел от Генри. К птицам он, насколько я знаю, совершенно безразличен, но в моих рассуждениях о том, что наша озабоченность грядущими катастрофами отбивает у нас охоту заниматься разрешимыми проблемами окружающей среды здесь и сейчас, он, кажется, что-то увидел. В электронном письме он мягко предложил мне отказаться от пророчески-презрительного тона. «Будет более убедительно, – написал он в другом письме, – если, как ни парадоксально, ты сделаешь вещь не столь однозначной, менее полемической. Не обрушивайся на тех, кто хочет обратить наше внимание на климатические перемены и снижение выбросов. Но поставь вопрос о цене. О том, что дискурс оттесняет на обочину». От письма к письму, от версии к версии Генри подталкивал меня к тому, чтобы построить эссе не как обличение, а как вопрос – как вопрос о смысле наших действий, когда мир, похоже, идет к концу. В окончательном виде эссе в немалой степени было посвящено двум хорошо продуманным региональным природоохранным проектам, в Перу и Коста-Рике, действительно меняющим в этих регионах мир к лучшему – не только для диких растений и животных, но и для живущих там перуанцев и костариканцев. Работа в рамках этих проектов осмысленна в личном плане, выгоды непосредственны и ощутимы.

Рассказывая об этих двух проектах, я надеялся, что один-два крупных благотворительных фонда, тратящих десятки миллионов долларов на развитие производства биодизеля и на ветроэлектростанции в Эритрее, обратят внимание на эссе и зададутся вопросом, не поддерживать ли деятельность, приносящую ощутимые результаты. Вместо этого я подвергся ракетному обстрелу из либерального бункера. Меня нет в социальных сетях, но друзья донесли, что в мой адрес не скупились на клички: «птичьи мозги», «отрицатель климатических изменений». Цитировали вырванные из контекста кусочки моего эссе размером с твиты, создавая впечатление, будто я предлагаю *отказаться* от усилий, направленных на уменьшение углекислых выбросов, что совпадает с позицией Республиканской партии, что, согласно черно-белой логике интернет-дискурса, делает меня отрицателем климатических изменений. На самом деле я согласен с климатологами настолько, что даже не надеюсь на сохранение полярных ледников. Я отрицал одно: способность благонамеренной международной элиты, устраивающей встречи в приятных отелях по всему миру, предотвратить их таяние. Вот в чем состояло мое преступление против правоверия. Климат сейчас захватил либеральное воображение такой мертвой хваткой, что любая попытка повернуть разговор иначе – даже попытка поговорить о грандиозном опустошении, которое люди уже творят без всякой помощи со стороны климатических изменений, – расценивается как покушение на религиозные основы.

Я понимал профессионалов в области климатических изменений, разругавших мое эссе. Они десятилетиями трудились над тем, чтобы поднять тревогу в Америке, и наконец добились поддержки от президента Обамы; они получили Парижское соглашение. Несвоевременно с моей стороны было указывать на то, что масштабное глобальное потепление уже неостановимо, и говорить о маловероятности того, что человечество оставит в земле хоть сколько-нибудь углерода при том, что даже сейчас ни одна из стран мира не взяла на себя подобного обязательства. Мне также понятен был гнев индустрии, занимающейся альтернативными источниками энергии: бизнес есть бизнес. Если признать, что проекты, посвященные возобновляемой энергии, – только сдерживающая тактика, не способная аннулировать вред, который былые выбросы углекислого газа будут продолжать причинять столетиями, это поведет к новым вопросам по поводу отрасли. Например: нам действительно необходимо столько ветряков? Их непременно нужно устанавливать в экологически чувствительных районах? Кстати, о солнечных электростанциях в пустыне Мохаве: не разумнее ли было бы разместить солнечные панели в Лос-Анджелесе, а открытое пространство сберечь? Не разрушаем ли мы в некотором смысле естественную среду, желая спасти ее? Мне сдается, «птичьи мозги» – это написал про меня какой-нибудь блогер от индустрии.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.